



## **В. Л. ДЕБАГОРИЙ-МОКРИЕВИЧ**

### **От бунтарства к терроризму: [Воспоминания]**

#### *Глава IV. Поездка за границу. — Знакомство с Бакуниным*

В Цюрих я приехал в апреле 1873 года и там застал уже целую колонию соотечественников. То была молодежь, по большей части студенты университета и политехникума, состоявшая из девушек, приехавших за границу учиться в высших учебных заведениях, доступ в которые закрыт был тогда для них на родине. Но если в России, несмотря на надзор, в университетах устраивались сходки и заводились кружки, то легко можно себе представить, насколько сильнее должно было проявиться подобное движение среди молодежи, собравшейся за границей, вдали от родины, где не было полицейского надзора и где можно было, не стесняясь, громко высказывать мнения и организоваться в какие угодно кружки.

Какой цифры достигало количество съехавшихся тогда русских, сказать не могу с точностью, но, кажется, оно не превышало трехсот.

Количество это, без сомнения, затерялось бы незаметно среди населения, например, Парижа, но не так было в Цюрихе. Тихие кварталы этого города возле политехникума, где преимущественно жили русские, совершенно преобразились: всюду слышалась русская речь; кучки молодежи то и дело сновали по улицам, громко разговаривая между собою и жестикулируя, к ужасу цюрихчан, не видевших раньше ничего подобного.

Однако жизнь выразилась не в одном только шуме и песнях. В это время в Цюрихе организовались две русские библиотеки, заведены были две вольные русские типографии; куплен был дом, если не ошибаюсь, тысяч за восемьдесят франков, в котором устроена была кухмистерская и где по вечерам в большом зале происходили собрания и чтения рефератов и лекции, преимущественно Лаврова, проживавшего в это время в Цюрихе.

Впрочем, я был в Цюрихе тогда очень недолго, а потому не берусь знакомить читателя во всех подробностях с тамошней жизнью русских. Быть может, кто-либо другой расскажет когда-нибудь обстоятельнее об этом интересном времени, я ограничусь лишь самыми общими указаниями.

Но здесь я должен сделать маленькое отступление.

Западноевропейское международное общество рабочих, или, как его называли, «Интернационал», к тому времени успело уже распасться на два враждебных лагеря: социал-демократический и анархический.

Социал-демократы — преимущественно в Германии — ставили своей практической задачей путем легальной агитации и выборов овладеть постепенно рейхстагом<sup>1</sup>, чтобы превратить таким образом в более или менее отдаленном будущем немецкую буржуазно-конституционную империю в социалистическое государство. Анархисты признавали необходимым полное разрушение государства, как авторитарного учреждения, отрицали благотворное влияние власти, в чьих руках она бы ни была, и полагали, что действительное равенство может осуществиться только по свободному соглашению между людьми, а никоим образом не путем государственных декретов и реформ. Таким образом первые являлись «государственниками», вторые — «антигосударственниками».

Когда эти две враждебные между собою программы были поставлены на выбор русской молодежи, она в громадном большинстве высказалась за анархию. Я не берусь указывать здесь на причины этого явления. Может быть, произошло это оттого, что нам, русским, успело надоесть к тому времени государственное вмешательство и в государстве мы видели скорее врага прогресса, чем пособника; а может, и потому, что мы не имели рейхстага и некуда нам было посылать своих депутатов; как бы там ни было, но, повторяю, почти все высказались за анархические теории.

Но хотя все и были за анархию, однако полного согласия далеко не было. Напротив, когда я приехал, то застал русскую колонию в Цюрихе разделенную на два враждебных лагеря: «лавристов» и «бакунистов». Первые группировались вокруг Петра Лавровича Лаврова, только года за два перед тем бежавшего за границу из Вологодской губернии, куда он был сослан административным порядком в конце шестидесятих годов, бывшего профессора артиллерийской академии в Петербурге и автора известных «Исторических писем». Вторые представителем своим считали Михаила Бакунина — старого эмигранта, проживавшего в то время на юге Швейцарии, в городе Локарно. Как одни, так и другие, конечно, своей целью ставили

разрушение государства; как одни, так и другие признавали только революционный путь борьбы, но на средства достижения революции смотрели различно, и в этом-то и заключались главным образом их разногласия.

«Лавристы» на первом плане ставили пропаганду социалистических идей в народе, которая должна была подготовить, как им казалось, народную массу к социальной революции.

«Бакунисты» признавали бунтовской путь, так как, по их мнению, благодаря общему недовольству существующим строем бунт всегда имел шансы перейти во всенародное восстание или, другими словами, в революцию. Но даже в худшем случае, будучи подавленным, бунт все-таки являлся школой, которая воспитывала народ в желательном направлении и революционизировала его, то есть делала способным к созданию революции.

К этим более или менее существенным разногласиям примешивались еще второстепенные недоразумения, по-видимому, совершенно несерьезные, ничтожные, которые, однако же, на деле оказались и более серьезными, и более важными, чем все остальные. Между «бакунистами» и «лавристами» возгорелась из-за библиотеки страшная борьба, доведенная более ревностными сторонниками до того, что, наконец, сделалось опасным выходить из дому без оружия.

Когда я приехал в Цюрих, то застал здесь несколько человек моих товарищей по «американскому» кружку, и одна из приятельниц принялась нервно и торопливо знакомить меня во всех подробностях с цюрихской жизнью, причем настаивала, чтобы я присоединился к ним — она была ярая «бремершлюсселька» (бакунистов называли «бремершлюссельцами» от имени дома (Bremer Schlüssel]), в котором жил Р.<sup>2</sup> и другие видные бакунисты). Но я решительно ничего не мог понять из того, что видел и слышал кругом себя, не мог войти во вкус местных недоразумений и потому на первых порах должен был оставаться в стороне. К тому же я был поглощен решением вопросов чисто принципиального характера, и о цюрихской библиотеке — кому она должна была принадлежать и кто ею должен был распоряжаться — «лавристы» или «бакунисты» — просто не хотелось даже думать.

Меня преследовала мысль сделатья рабочим и войти в организацию Интернационала. Эту же мысль разделяли со мною Донецкий<sup>3</sup> и Судзиловский<sup>4</sup>, два моих товарища по «американскому» кружку. Третий товарищ, Ходько<sup>5</sup>, человек, обладавший неистощимым запасом остроумия и хохлацкого юмора, подсмеивался над нами и утверждал, что ровно ничего не выйдет из нашего стремления «слиться» с западноевропейским рабочим, что мы, подобно ему,

скоро разочаруемся Европой, возвратимся в Россию, куда, между прочим, он уже со дня на день собирался ехать. Несмотря на это, трое нас решили отправиться искать работу к Сен-Готарду<sup>6</sup>, где в то время рыли тоннель и прокладывалась железная дорога, и недели через три после моего приезда в Швейцарию мы собрались в путь.

Перед самым отъездом из Цюриха я зашел к Р., одному из «бакунистов», чтобы познакомиться с ним. Надо сказать, что я сильно интересовался как программой Бакунина, так и самой его личностью. Еще в России я слышал о нем, как о человеке, которому русское правительство придавало большое значение, и потому, приехавши в Швейцарию, с большим любопытством прислушивался к всему, что касалось его. Я узнал, что Бакунин участвовал в революции 1848 года в Дрездене<sup>7</sup>, где играл выдающуюся роль и потом за это осужден был саксонским правительством к смерти. Но австрийское правительство потребовало его выдачи и в свою очередь приговорило его к смерти за участие в пражском восстании, имевшем место ранее дрезденского. Посаженный в одну из австрийских крепостей, чуть ли не в Ольмюц, он просидел там прикованный за ногу к пушечному ядру до тех пор, пока, по требованию Николая I, не был выдан наконец России. Здесь, заключенный в Шлиссельбург<sup>8</sup>, пробыл еще несколько лет в одиночке и только в конце пятидесятых годов сослан в Сибирь, откуда ему удалось бежать в начале шестидесятых годов за границу.

Прошедшая жизнь Бакунина, влияние, каким он пользовался на окружающих, его способности — словом все принимало у него крупные, необыкновенные размеры, далеко не укладывавшиеся в обыденные рамки. То его приговаривают к смерти, то томят потом около девяти лет в одиночных кельях по крепостям. Из Сибири он бежит кругом света через Японию и Америку и, явившись в Европу, принимает здесь горячее участие в различных революционных попытках. Он оказывается одним из лучших ораторов. Приняв участие в Интернационале, становится могучим противником Маркса, противопоставляя его «государственности» свою «анархию», и доводит дело до распада Интернационала на два враждебных лагеря: социал-демократов и анархистов.

Нечего и говорить, что я целиком склонялся к последним, так как мне не нравились централистические теории социал-демократов и «государственность», отождествлявшаяся в моих понятиях с чиновничеством, к которому еще с юности установилось у меня отрицательное отношение.

Но возвращаюсь, однако, к прерванному рассказу.

Итак, накануне отъезда из Цюриха я познакомился с бакунинцем Р. и среди разных других вопросов заговорил между прочим с ним

о нашем плане сделаться рабочими и примкнуть к какой-нибудь местной секции Интернационала. Помню, сначала он принялся было меня разубеждать, но, заметив мое упрямство, скоро прекратил свои возражения и в заключение сказал:

— Ну, что же, впрочем, попробуйте... Хотя я знаю из опыта, что иностранцу это очень трудно. Даже Бакунин встречал большие затруднения во время своей деятельности в Лионе в 1871 году. Противники распространяли о нем нелепые выдумки, желая дискредитировать его в глазах лионских рабочих, и ему приходилось тратить много энергии и сил, чтобы защитить себя от клеветы.

Эти сведения неприятно меня поразили. Если Бакунина встречали подобные препятствия во время его деятельности среди французских рабочих, то что же надо было ожидать мне? — мысленно задавал я себе вопрос <...>.

В Женеве мы познакомились с эмигрантом Лазарем Гольденбергом<sup>9</sup> (не надо смешивать с Григорием Гольденбергом<sup>10</sup>, приобретшим печальную известность своими показаниями, скомпрометировавшими очень многих лиц), заведовавшим в то время вольной русской типографией, принадлежавшей петербургскому кружку «чайковцев»<sup>11</sup>, о которых я упомянул как-то выше. Типография женевская заведена была ими, кажется, около года тому назад (в 1872 г.), и в ней печатались брошюры исключительно для народа. Гольденберг принялся хлопотать о приискании нам работы; но найти в Женеве какую бы то ни было работу, особенно иностранцу, оказалось делом далеко не легким. Судзиловскому скоро надоело это неопределенное положение, и он решил воротиться в Цюрих; так что нас осталось только двое: я и Донецкий. В ожидании, пока подыщется работа (об этом хлопотали французы, знакомые Гольденберга), я почти всякий день посещал Гольденберга и Куприанова<sup>12</sup>, работавших в типографии.

Куприанов недавно перед тем был прислан за границу кружком «чайковцев», кажется, специально по делам типографии и скоро должен был возвратиться в Россию. Печаталась в это время «История французского крестьянина», переделка на русском языке, приспособленная для народа. Я часто вступал в споры с Куприановым, доказывая ему, что мало пользы печатать книжки для народа, который неграмотен. Он, конечно, не соглашался со мною; но редко удавалось расшевелить его в споре до того, чтобы он повернул ко мне свое лицо; стоит, бывало, возле кассы с набором в руке и возражает, не торопясь. Он производил впечатление человека флегматичного, но искреннего и развитого не по летам (в то время, насколько помню, ему не было двадцати лет). Помню, особенно много спорили мы

с ним по вопросу о значении темперамента для революционного дела. Он не придавал никакого значения темпераменту и все сводил к понятию о долге. Я думал иначе.

По возвращении в Россию Куприянов вскоре был арестован и спустя несколько лет умер, кажется, от чахотки, развившейся у него в тюрьме.

Но вот наконец Донецкому и мне удалось пристроиться к работе: нас поместили к одному предпринимателю в качестве землекопов с платою трех франков в день. Я был привычен к физическому труду и потому выносил эту работу сравнительно легко. Но о Донецком нельзя было этого сказать. Не один раз доводилось мне читать в его глазах страдание. Махая железной киркой с раннего утра до полудня, он выбивался из сил, и тяжело было смотреть на его изнуренное, залитое потом лицо. Земляная пыль набивалась в глаза, в ноздри, а летнее солнце невыносимо жгло сверху. Но он не унывал и скоро стал даже привыкать к работе. Так прошло, кажется, недели две или три.

Помню, в одну из суббот я ушел с работы домой несколько раньше обыкновенного, рассчитывая встретиться с Донецким вечером в кофейне, где мы обыкновенно ужинали. Но уже давно наступило время окончания работ, я поужинал, а Донецкого все не было. Я стал тревожиться. Переговоривши с Гольденбергом, находившимся тоже в кофейне, мы решили отправиться на место работ. Закрадывалось даже подозрение, не ушиблен ли Донецкий землю (что, как известно, случается при такого рода работах). Придя на место, мы никого не застали: рабочие разошлись по домам. Из опросов в соседних домах мы узнали, что никакого несчастного случая не было, и, несколько успокоенные, возвратились в нашу кофейню, предполагая, что Донецкий, идя с работы, вероятно, зашел куда-нибудь и что во всяком случае он скоро должен явиться к ужину.

Однако Донецкий не приходил в тот вечер ужинать и не возвращался ночевать в свою квартиру. Я жил с ним в одной комнате. Ночь провел я в беспокойстве и, лишь только наступил день, помчался к Гольденбергу. Тревогу мы забили невообразимую. Тотчас мы сообщили обо всем знакомым французам-коммунарам, жившим в то время в Женеве на положении эмигрантов. Коммунары, относившиеся весьма сочувственно к нам, устремились тоже на поиски. Никаких указаний, никаких сведений! Донецкий словно сквозь землю провалился. Измученные, недоумевающие, сошлись мы к полудню в наш ресторанчик, и каково же было наше изумление?! Донецкий сидел за столиком и что-то ел с аппетитом. Оказалось, что все это время он провел в женевской кутузке. Дело было так: возвращаясь с рабо-

ты, Донецкий настигнут был на улице двумя какими-то господами в штатских костюмах; они схватили его за руки и стали тащить в полицию. Приняв вначале этих господ за обыкновенных пьяных нахалов, Донецкий попытался было отделаться от них силою, но они его одолели и самым грубым, бесцеремонным способом поволокли в кутузку. По пути, на вопрос Донецкого, за что его арестуют, они ему ответили: «*Quel droit avez vous de travailler ici?*»<sup>13</sup>

Приведя на место, они его тщательно обыскали, забрали табак и спички, находящиеся при нем, и втолкнули в темную, вонючую каморку на ночь. Только на следующее утро его привели перед лицо самого директора полиции. Директор вел себя необыкновенно вежливо и мило, порицал своих агентов за их грубое поведение накануне. Но, как известно, это — обыкновение всех директоров полиции конституционных стран: держать на службе грубых агентов для того, чтобы потом извиняться перед пострадавшими.

Донецкий приехал за границу с чужим паспортом, так как он был несколько скомпрометирован в глазах русской полиции, и ему не хотели выдать заграничного паспорта. В Женеве он жил без *permis de séjour*<sup>14</sup>; шпионы женевские это пронюхали и, конечно, по приказанию того же вежливого директора напали на него в ту минуту, когда он возвращался с работы домой. Директор полиции, сняв допрос, отпустил Донецкого, но при этом заявил ему, чтобы он немедленно выезжал из женевского кантона, в противном случае грозил вывезти его силою.

Таким образом Донецкий для женевской республики оказался опасным человеком, от которого тамошние власти сочли необходимым во что бы то ни стало избавиться. Впрочем, быть может, его изгнали просто по просьбе русского посольства и директор женевской полиции получил за это даже известную награду. А может быть, наконец и в самом деле женевским властям было неприятно смотреть, как мы, иностранцы, отбивали работу у их граждан. Так ли, иначе ли, но результат оставался один и тот же: нам нельзя было оставаться в Женеве, ибо, очевидно, если полиция поступила с Донецким так сегодня, то никто не помешает ей завтра поступить подобным же образом со мною.

Швейцарская свобода была, как видно, не для всех, и мы оказывались здесь лишними. Да полно, только ли с нами, иностранцами, так бесцеремонна была эта полиция? Я сам в Женеве был свидетелем того, как жандарм бил «гражданина»; «гражданин» свалился на пол — дело происходило в участке — и жандарм принялся тыкать его в бока и брюхо своими сапожищами, подбитыми снизу для крепости сплошными рядами гвоздей, таких, какие употребляются

у нас в России для лошадиных подков. Но что же это в таком случае за порядки и какая это свобода? Склонные и без того крайне скептически относиться к политической свободе, мы только укреплялись в своем отрицательном отношении к ней, имея перед глазами подобные факты.

Таким образом о «слиянии» с западноевропейским рабочим и думать больше не хотелось, и оставалось только покончить с этим вопросом как-нибудь сразу, тем более что в глубине души давно уже копошилось смутное чувство недовольства и какой-то неудовлетворенности всем тем, что приходилось видеть кругом: и язык чужой, и нравы чужие, и тесно тут так, что повернуться негде, и скука, скука смертная! Я решил возвратиться в Россию.

Так кончился первый период моей жизни, явившийся как бы преддверием к следующему за ним «революционному народничеству», которое, собственно, и составит главный предмет моих воспоминаний.

Я послал письмо в Цюрих к «бакунистам», предлагая принять участие в их работах по изданию, и, получив ответ, тотчас уехал в Цюрих. Они печатали в это время «Государственность и Анархия» Бакунина. «Лавристы», кажется, работали тогда над первым номером «Вперед». Окончив печатание «Государственность и Анархия», в августе или сентябре 1873 года я вместе с Р. отправился в город Локарно, где жил Бакунин. Перед отъездом в Россию мне непременно хотелось с ним познакомиться.

Мы ехали дилижансом той самой дорогой, которую несколько месяцев тому назад я пешком прошел, только теперь из Андермата, не сворачивая вправо, на запад, а переваливши через Сен-Готардский проход, двинулись прямо к югу вдоль речки, направлявшейся к озеру Лаго-Маджоре, на берегу которого построен город Локарно. Дилижанс прибыл на место поздно вечером; мы заняли номер в гостинице, отложив наш визит до следующего дня. Но Бакунин вставал поздно, так что мы отправились к нему только часу в десятом утра. Погода стояла солнечная, и после яркого света снаружи, когда я вошел в его комнату, помещавшуюся в нижнем этаже, она мне показалась совершенно темной. Одно или два ее окна выходили куда-то в темное место, может быть, в сад, и мало давали свету. У правой стены, в углу, я увидел в тени огромную низкую кровать, на которой в ту минуту еще лежал Бакунин.

Р. меня отрекомендовал ему. Тот, лежа, пожал нам обоим руки, сопя, приподнялся с кровати и стал медленно одеваться. Я осмотрелся. Слева вдоль стены стоял длинный стол, заваленный газетами, книгами и письменными принадлежностями. Далее, почти до потол-

ка поднимались простые деревянные полки, тоже загроможденные всевозможными бумагами. Посредине комнаты на круглом столе стоял самовар, стаканы, табак, куски сахара, чайные ложечки — все вперемежку; стулья в беспорядке...

Бакунин был необычайно высок и массивен, хотя его полнота была, очевидно, болезненная. Его лицо было обрюзглое, под светло-серыми или голубыми глазами висели мешки. Огромная голова заканчивалась большим лбом, по сторонам которого торчали вьющимися клоками редкие полуседые волосы. Он одевался, сопел и от времени до времени уставлял на меня свои светлые глаза. Я чувствовал на себе этот взгляд, и мне было неловко, тем более что совершалось это молча. Я слышал раньше, что Бакунин составлял мнение о людях по первому впечатлению, и теперь, чего доброго, он изучал мою физиономию. Изредка он перебрасывался с Р. короткими фразами. Он сильно шепелявил, так как у него недоставало многих зубов. Но вот он согнулся, чтобы обуть ноги, и в эту минуту я услышал, как его дыхание сперлось. Когда он выпрямился, то засопел страшно тяжело — он задышался, его обрюзглое лицо посинело. Все это указывало на то, что болезнь, сведшая его года три спустя в могилу, уже была развита в сильной степени. Когда Бакунин оделся, мы вышли в сад, в беседку, куда подан был завтрак. Здесь к нам подошли двое итальянцев, одному из которых он меня отрекомендовал. То был Кафиери, ближайший друг Бакунина, известный тем, что отдал свое состояние, достигавшее весьма значительной цифры, на итальянские революционные дела. Он молча уселся возле нас и принялся курить трубку. Между тем пришел почтальон с кучей газет и писем, и Бакунин занялся их просматриванием. Затем появился Зайцев<sup>15</sup>, бывший сотрудник журнала «Русское Слово»<sup>16</sup>, живший тогда в одном доме с Бакуниным, и вскоре между ними завязался общий разговор о Барселонском восстании<sup>17</sup> (в Испании), происшедшем, кажется, в 1872 году и окончившемся, как известно, неудачно. Среди других взглядов, высказанных присутствовавшими по поводу этого восстания, Бакунин выразил, между прочим, ту мысль, что сами революционеры были сильно виноваты в неудаче, постигшей их в Барселоне.

— В чем же были их ошибки? — спросил я.

— Надо было сжечь правительственные здания! Это первый шаг в момент восстания. А они этого не сделали! — с жаром проговорил он.

Только из дальнейших бесед мне выяснилось, насколько важное значение Бакунин придавал этому «первому шагу». По его мнению, уничтожением правительственных зданий, где сохранялись всевозможные акты и документы, вносился серьезный беспорядок и хаос

в существующие общественные отношения. «Многие привилегии и права собственности покоятся на тех либо других документах, — говорил он, — с уничтожением которых полный поворот к старому порядку становится затруднительным».

Развивая свою мысль, Бакунин указывал на тот, по его мнению, многозначительный факт, что сам народ в момент восстания раньше всего набрасывается на правительственные учреждения — канцелярии, суды, архивы, и при этом вспомнил наш Пугачевский бунт<sup>18</sup>, когда восставшая толпа с ожесточением рвала и жгла правительственные бумаги. Народ таким образом, по мнению Бакунина, инстинктивно понимал зло «бумажного царства» и стремился его уничтожить.

Слушая Бакунина, я вспоминал о недоверии, с каким действительно относится наш мужик к бумагам, и тот страх, который вселяют они ему. Я вспомнил всю эту массу бумаг с тысячами исходящих номеров, выпускаемых ежегодно нашими канцеляриями — всевозможных отношений, заявлений, рапортов, где главным объектом для чиновничьих манипуляций, имеющих целью вытащить рубль из кармана, является все тот же неизменный мужик; вспомнил венец всего — наш всероссийский паспорт, эту изумительную бумагу, обладающую таким качеством, что человек без нее не человек, а какое-то преступное существо, долженствующее сидеть в тюрьме; вспомнил я все это и оценил мысль Бакунина.

Ненависть, с какою он относился к «бумажному царству», сказывавшаяся решительно в каждом слове и даже в выражении его глаз, становившихся совершенно круглыми в ту минуту, когда он говорил об этом вопросе, делали его как бы естественным представителем русского народа, хотя в это время Бакунин далеко уже не увлекался русскими революционными делами. Напротив, по отношению к русским у него звучала скептическая нота. Над немцами он любил посмеяться, особенно когда заходила речь о некоторых восстаниях 1848 года. Немец и революция были в его представлении два друга друга исключают друг друга.

Все свои надежды Бакунин возлагал на романские племена и, в частности, на итальянцев, посвящая все время и энергию на конспирации среди них. Поэтому Локарно, построенное на берегу озера Лаго-Маджоре, находящегося на границе Швейцарии и Италии, представляло собой как нельзя более удобный пункт для Бакунина, которому въезд в Италию, как и во Францию, был запрещен; Локарно играло роль революционного центра, куда съезжались итальянские заговорщики для тайных совещаний с Бакуниным.

План Бакунина состоял в том, чтобы организовать заговор из смелых людей, готовых на самопожертвование, которые в определенный

срок должны были собраться в известное место с тем, чтобы начать вооруженное восстание. Предполагалось дело начать с нападения на местные правительственные учреждения и затем перейти к «ликвидации» существующего строя, т. е. к конфискации земельной собственности, фабрик и т. п.

Однако Бакунин далеко не льстил себя надеждой на неременный успех.

— Мы должны беспрестанно делать попытки восстания, — говорил он. — Пусть нас разобьют один, два раза, наконец — десять и двадцать раз, но если на двадцать первый раз народ поддержит и восстание сделается всеобщим — жертвы окупятся.

Весь вопрос таким образом сводился к тому, чтобы выбить, так сказать, народную массу из ее индифферентного состояния и заставить ее вступить в открытую борьбу с своими притеснителями. Бакунин являлся сторонником *активного* революционного дела и не удовлетворялся одною пропагандою слова, находя ее бессильным средством для того, чтобы революционизировать массы.

На этой почве последователями Бакунина была потом построена доктрина так называемого «парлефетизма» (*propagande par le fait*)<sup>19</sup> в противовес пропаганде словом, приведшая в конце концов к анархическим бомбам, столь волнующим в настоящее время цивилизованный мир. Однако разница между современным анархизмом и бакунинским уже прежде всего та, что Бакунин всегда стремился к созданию *организованного бунта*, а ничуть не единичных убийств, совершаемых к тому же по *личному* усмотрению, как это мы видели теперь во Франции, и считать Бакунина ответственным за последние события было бы несправедливо.

Доктрина «парлефетизма» на практике привела к явлениям противообщественного характера, ибо на бомбу, брошенную в толпу или в ресторане, мы не можем смотреть иначе, как на преступление; но нам кажется, что большинство доктрин, когда терялось к ним критическое отношение и становились они для людей непогрешимыми догматами, приводило в конечных выводах, и особенно в приложении их к жизни, к нелепостям и абсурдам. Так, мы видим, между прочим, как противоположная доктрина, признавшая исключительно путь словесной пропаганды и безусловно отвергавшая «парлефетизм», если не вовлекала людей в преступления, то зато часто приводила их к непоследовательности и болтовне.

На второй или третий день пребывания нашего в Локарно мы отправились по озеру в лодке вместе с Бакуниным, желавшим показать нам дом, недавно купленный на его имя в окрестностях города. Покупка эта совершена была итальянскими заговорщиками<sup>20</sup>

с целью устроить революционный притон, а вместе с тем, сделавши Бакунина домовладельцем, закрепить его положение в Локарно, откуда его могли всякую минуту выгнать по настоянию итальянского правительства, имевшего сведения об его участии в революционных конспирациях.

Мы поплыли, пересекая залив, и скоро приблизились к берегу, поднимавшемуся высокими крутыми горами, поросшими на известной высоте кустарником. Вдоль озера вилась шоссе́нная дорога, ведущая из Локарно, выше которой виднелись дачи. Причалив к месту, мы поднялись по тропинке в гору и, перейдя дорогу, вошли в калитку. Я увидел перед собой старый двухэтажный дом с выцветшими стенами, покрашенными когда-то желтой краской. Передний фасад, обращенный к озеру, был выше заднего, как это бывает в домах, построенных на крутом скате. Толстые каменные стены окончательно делали похожим на какое-то маленькое укрепление этот старый дом, как мне показалось, вообще мало пригодный для жилья. Когда мы вошли в него, на меня пахнуло сыростью и запахом плесени; задние комнаты были темны, так как выходили окнами к горе, круто поднимавшейся сзади дома, где был разбит небольшой фруктовый садик. Но зато для устройства притона дом представлял много удобств. Отсюда можно было совершенно незаметно пробраться к озеру и уплыть в каком угодно направлении.

В Италию можно было проехать в лодке, минуя таможни. Бакунин стал толковать о том, как «они» (т. е. итальянские революционеры и он вместе с ними) поместят в этом доме «летучую типографию» и будут печатать прокламации в момент восстания, как устроят здесь склад оружия, конгревовых ракет<sup>21</sup> и тому подобных «бунтовских» принадлежностей и будут доставлять их в Италию. Затем он обратился к Р. и ко мне с предложением, чтобы мы осмотрели помещение и высказали наше мнение относительно того, где и как удобнее будет устроить секретные ходы.

Мы приступили к осмотру. Я заглядывал решительно во все уголки. Из одной комнаты я нашел весьма удобным прокопать подземный ход в глухую часть сада, откуда уже легко бежать и скрыться в кустарнике, росшем по горе; из другого места можно было устроить незаметный проход к озеру. Под домом предполагалось вырыть помещение для склада оружия.

Беседуя с Р. о секретных ходах, я ходил по комнатам точно в каком-то завороженом состоянии. Здесь я имел перед собою уже не отвлеченные теории и рассуждения о революционной деятельности, а, так сказать, самую эту деятельность во всей ее реальности. Воображение мое разгоралось. Я уже предвкушал то сладкое мгно-

вание, когда кому-нибудь из итальянских революционеров удастся тем или другим ходом ускользнуть при обыске из рук полиции. В ту минуту я не делал различия между Швейцарской республикой и самодержавной Россией.

Мы кончили осмотр и собрались в нижней комнате, где сторожем дома приготовлена была в это время закуска, состоявшая, впрочем, из хлеба с сыром и довольно плохого кислого вина. Усевшись за стол, мы продолжали беседу на ту же тему; устройство притона с секретными выходами и складом сильно занимало Бакунина. Он тоже допускал возможность обысков. Очевидно, Бакунин или вообще мало доверял швейцарской свободе, или, быть может, имел в виду такие дела, которые не могли быть терпимы ни в одной стране.

— Быть может, и вам, русским, — говорил он, — понадобится держать за границую свою строго конспиративную типографию для печатания летучих листков; можно будет ее тоже поместить здесь. — Потом он переменял тон и резко добавил: — Впрочем, какие же конспираторы русские?! Пойдут болтать — скомпрометируют, пожалуй, и наше итальянское дело.

Мне было очень неприятно слышать этот упрек, и я принялся что-то — не помню уж, что именно — говорить в защиту нас, русских. Но еще неприятнее сделалось, когда Бакунин, возражая мне, в заключение вдруг воскликнул:

— Да что русские!? Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет — и, может быть, ни одного анархиста среди них не будет!

Эти слова глубоко врезались в моей памяти, и часто приходилось мне потом их вспоминать и видеть в них пророческое значение.

Завтрак наш окончился брудершафтом<sup>22</sup>. Беседа приняла обыденный характер. Бакунин то и дело ловил меня на слове «вы», которое я по привычке все еще употреблял вместо «ты».

Дня через два после того Р. отправился обратно в Цюрих. Я же, намереваясь ехать в Россию через Северную Италию, остался еще на несколько дней в Локарно.

Все время я проводил у Бакунина, являясь к нему обыкновенно часу в десятом-одиннадцатом дня и оставаясь до глубокой ночи, так как ложился он всегда очень поздно.

От многих наших тогдашних бесед теперь сохранились в моей памяти только отдельные отрывки. Так, припоминаю, как он рассказывал мне о своем пребывании в Шлиссельбургской крепости, где для развлечения он занимался тем, что кормил крошками хлеба голубей на окне своей одиночной камеры. Или тоже помню, как Бакунин утверждал, что участие жуликов в революционных делах

служит вернейшим доказательством успеха, ибо жулики — такой народ, который скорее других определяет истинное положение дел и дает настоящую оценку событиям. Они сразу чувствуют, где может быть нажива и что может принести им выгоду, и раз они начинают вмешиваться в революционное дело, то это показывает, что революционное дело сделалось настолько популярным, что может явиться предметом эксплуатации для личных целей.

— Это, однако, надо иметь в виду и принимать меры, чтобы они не скомпрометировали революционного дела в общественном мнении, — говорил Бакунин.

Но вот наконец я стал собираться в дорогу. Помню, накануне моего отъезда Бакунин высчитал по путеводителю количество денег, необходимых для моего путешествия, и потребовал, чтобы я показал ему свой кошелек. Напрасно я старался убедить его, что денег у меня достаточно и я в них не нуждаюсь. Он все-таки настоял на своем: кошелек свой я должен был в конце концов ему показать. До требуемого количества не хватило тридцати с небольшим франков.

— Я остановлюсь в Богемии. Там у меня есть приятели, у которых я могу взять денег, сколько мне понадобится, — объяснил я.

— Ну, ну, рассказывай! — возражал Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил ее, сопя отсчитал тридцать с лишним франков и передал мне.

Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я принужден был их взять.

— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю, — проговорил я, но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.

— Кому? Мне вышлешь? — спросил наконец он; потом добавил: — Это я даю тебе не свои деньги.

— Кому же их переслать в таком случае?

— Большой же ты собственник! Да отдай их на русские дела, если уж хочешь непременно отдать.

Мы простились, и я выехал из Локарно.

Добравшись на пароходе до южного конца Лаго-Маджиоре, я пересел там на железную дорогу и двинулся через Северную Италию и Тироль в Россию. Поезд мчался, а я, сидя у окна и глядя на мимо пробегавшие картины, мечтал о будущем. Оно мне представлялось таким заманчивым и величественным. Я до того был полон веры в ту минуту, что почти готов был крикнуть горе: «двинься с места!»

Вот миновал я уже Краков, услышал родную речь, и в моей груди учащенно забилось сердце. Каждый мужик, каждая баба, влезавшие в мой вагон, казались мне близкими, родными. Я всматривался в них так, как будто раньше не видел их или, вернее, точно я их видел,

но давно-давно когда-то, и теперь опять встретил. После того как я отделался от своего космополитизма, мир окрасился для меня в иную краску. Жизнь получила для меня больше смысла и прелести. Вспомнил я о своем недавнем стремлении «слиться» с западноевропейским рабочим, и это стремление представилось мне бесконечно жалким.

Да, веры в будущее у всех нас было тогда много. Мы — на самом деле незначительная горсть молодых людей — ощущали в себе присутствие необычайной силы, и это сознание силы покоилось у нас на вере в народ; всякий из нас чувствовал за собою миллионы крестьян. При подобной вере можно было надеяться на успех и игнорировать общество. Мы так и поступали. Мы игнорировали общество, признавали только себя, т. е. революционеров, да, с другой стороны, мужика, отбрасывая в сторону, как негодное, решительно все, что стояло вне нас и этого мужика.

### *Из главы XII*

<...>

Как французский народ в прошлом столетии, рассуждали мы, совершая местные бунты во имя короля, совершил в конце концов революцию, так и мы теперь будем бунтовать наш народ от имени царя; ряд подобных бунтов приведет к революции, которая столкнет наконец народ лицом к лицу с царем, а тогда падет между прочим и царский авторитет. Наш бунт представлялся нам чем-то вроде того, как некогда для Лассаля — всеобщее избирательное право, т. е. копейм, исцеляющим рану.

Рядом подобных-то умозаключений и примеров мы успокаивали поднимавшиеся по временам со dna души возмущения против задуманных нами ложных царских манифестов.

Как бы там ни было, но, по крайней мере в теории, мы мирились с этим обманом, который признавался нами за неизбежное зло, так как, чем больше мы размышляли, тем больше укреплялись в той мысли, что в народе возможно было вызвать только авторитарное движение. Само по себе это было косвенное признание с нашей стороны того, что в народе не было почвы для непосредственной революционной деятельности.

Любопытно следующее обстоятельство: наше бунтарство или, другими словами, бакунизм довели нас до признания подложных царских манифестов; между тем, когда мы сообщили о нашем плане самому Бакунину, желая узнать его мнение, — это было уже незадолго до его смерти (1876) — то он отнесся к этому плану крайне неодобрительно. «Ложь всегда шита белыми нитками», — говорил

он лицу, служившему между нами посредником. Но мы в ту минуту двигались уже, так сказать, по инерции, по известному, строго начертанному пути, изменить который для нас решительно было невозможно. Надо было пережить все до конца.

### *Из главы XVIII*

<...> для народа возможно чего-нибудь добиться только при посредстве самого же народа. Это такая неопровержимая истина, в которой нельзя было сомневаться! Народовольцы же думали ошастливить народ сверху, путем государственных мер и декретов. Этот путь ошибочный, и якобинизм давно осужден историей. Кто же погубил французскую революцию, как не якобинцы<sup>23</sup>, как не Робеспьер с компанией, прямым наследником которого оказался потом Наполеон?<sup>24</sup> Усомниться в этом значило усомниться во всем том, во что всю жизнь верил, и всю — решительно всю — прошедшую нашу революционную деятельность пришлось бы счесть вздором. А было ли это возможно?

И я подбадривал себя и с новым азартом принимался нападать на «Народную Волю»<sup>25</sup>, все придумывая новые аргументы в пользу народничества и против народовольчества. Брошюрка, первоначальные наброски которой были сделаны мною в Сибири, разрослась, приняла окончательную форму и пущена была мною в обращение. Я предполагал ее напечатать.

Но, однако, зачем все это мне понадобилось? Неужели так важно и необходимо было заручиться как можно большим числом сочувствующих и единомышленников среди интеллигенции?! Ведь центр тяжести был в народе, а не здесь. Зачем же тратить попусту силы и энергию на эти бесконечные опоры, от которых, очевидно, нельзя было ожидать добрых результатов? Не лучше ли плюнуть на это, отряхнуть прах с ног своих и уйти туда для работы? И это так просто было сделать! Я даже знал поименно тех крестьян, к которым надо было обратиться... Федь, Нечипор, Архип — они, конечно, давно ждали меня (они не знали о моем аресте и ссылке) и, может быть, даже не раз с удивлением друг друга спрашивали о том, где я пропастился и отчего так долго не являюсь к ним. Да, у меня есть прекрасно подготовленная почва для деятельности в народе; надо идти туда и работать.

Но лишь только вопрос этот поставлен был на очередь, как я почувствовал, что стали воскресать другие мучительные вопросы, уже рождавшиеся как-то раньше в моей голове (до ареста) и на которые я как тогда, так и теперь не в силах был отыскать ответ. Что я буду

там делать? Бунтовать? Но возможен ли бунт без оружия? А если нужно оружие, то откуда его взять? Для этого нужны огромные средства: сотней или двумя ружей нельзя же было удовлетвориться. А если бы даже и возможно было достать оружие в неопределенном количестве, то является другой вопрос: как можно было провести военную организацию среди крестьян так, чтобы ее раньше времени не раскрыли и не уничтожили при самом ее зародыше? Или же удовлетвориться организацией небольшой бунтовской шайки? Но какая польза от этого?

Бакунин говорил: «Пусть нас разобьют один, два раза, наконец десять и двадцать раз, но если на двадцать первый раз народ подержит и восстание делается общим, жертвы окупятся».

Но увы, это одна бунтовская мечта! Не только в двадцать первый, а в тысяча сто двадцать первый раз нельзя ожидать успеха! Ни одного шанса на то, чтобы подобная попытка могла разрастись в широкое народное восстание! Зачем же затевать?

Я чувствовал, как перед этими вопросами робела мысль и терялась энергия.

Вера в плодотворность революционной деятельности среди народа была пошатнута во мне еще до ареста, но тюрьма как будто законсервировала ее во мне, и на первых порах в Сибири мне даже казалось, что я опять по-старому уверовал. Я предполагал, воротившись в Россию, тотчас идти в народ. Но когда дело дошло до того, чтобы это осуществить, то сомнение заговорило во мне с удвоенной силой, и оказывалось таким образом, что то, что было один раз пережито, не забывалось и не могло пройти бесследно. Но только тогда, перед арестом, я не давал себе полного отчета в том, что во мне происходило, а теперь сознал это с поразительной ясностью. Я понял, что прежнего увлечения, которое горами двигает, не осталось во мне более, и не было никакой надежды на то, чтобы оно воскресло когда-нибудь.

